

ренной пробой к его фундаментальному творению.

— Я знаю, вы чрезвычайно заняты. У вас будут все условия...

— Не могу, юноша, никак не могу, устал... — ответил он, и ему показалось, что, демонстрируя усталость и безразличие, он будто накладывает последние мазки на свой шедевр.

Художник подметил страх, который запечатлелся на лице наивного посетителя, и радость его возросла. Нечто, которому он поклонялся, нечто, дававшее ему надежды в тяжкие годы дебюта, исподнилось сейчас, в этот миг, именно так, как он это себе представлял. Он работал по ночам, мечтая, как однажды ему предложат заказ, будут умолять его, а он, раздосадованный, станет слушать, а потом ответит утомленным голосом: «Глубоко сожалею, но я очень занят...» Он подолгу мечтал об этой сцене, о скужающем выражении своего лица и великопленной фразе: «Глубоко сожалею, но я очень занят...» Так мечтает о сусе потерпевший кораблекрушение в океане. В скужающей маске, которую он наденет позднее, в безразличии, с каким отвергнет заказы, которые почтут для себя за счастье десятки художников, он усматривал расплату за все. И вот пришла победа. «О, я счастлив. Смотрите все, в этот миг я мог бы умереть...»

Поддавшись детской радости, Художник повторил заветные слова, которые питали его мужество в трудные минуты бытия:

— Сожалею... Я чрезвычайно занят...  
Удивленный посетитель торопливо

оделся и заспешил к выходу. Художник, достигнув апогея в своем творчестве, меланхолично проводил его до двери взглядом, в котором светилась нежность, непонятная незнакомцу.

Маэстро был счастлив. Цель, которую он перед собой поставил много лет назад, когда писал картины в неопленной клетушке с земляным полом, достигнута. «О, я думаю, один Бах дожидался смерти так спокойно и умиротворенно, как я ее жду в сей миг!»

С того дня он не заходил в мастерскую. И лишь изредка просил домработницу позаботиться, чтобы его не отвлекали от работы. Бетти, как и прежде, обещала беречь его покой. Но вскоре он понял, что предосторожности напрасны: никто не тревожил его.

Хитрости домработницы были больше не нужны. Однако от излишнего усердия или из-за необъяснимой нежности Бетти продолжала лукавить... Но лукавство ее было грустным и бесполезным. Вопреки создавшейся ситуации потребность в презрении и отказе с иронической улыбкой на устах от заказов еще не изжила себя в Художнике. Поэтому, согласно установившейся традиции, он вызывал Бетти после завтрака, давал советы и учил, как поступить, чтобы никто не догадался, что он дома. «Никого не пускай, Бетти... Они находят разные предлоги. Надо будет — забаррикадируй дверь... И не поддавайся на уговоры. Не открывай, даже если тебе пообещают миллион для меня».

Бетти слушала, удивленная и покорная, эти строгие бесполезные наказания.

## КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ

### СТАСИНА ЖЕНА

Перевод с польского АСАРА ЭППЕЛЯ

Прошу минутку вниманья! Перед вами супруга  
Непонятого провидца. Три брата их было. Три друга —

Стася, Буся и Яся,— и все трое творили.

Стася творил всех дольше — братья послабже были.

Но взял вдруг перо и сломал он и воткнул куда-то;

Вхожу — оттоманка, Стася и перо сломато.

Я склеить было хотела, но Стася, с помощью взгляда,

Дал мне понять, что поздно — час пробил и клеить не надо.

На полу возле таза изорвана в клочья лежала

Последняя Стасина драма: «Вот где у пчелки жало!»

Десять актов. С прологом. И все собственноручно.

Но рукопись возвратили, сказавши, что несозвучно.

Стася взяла свои акты, в карманы пораспихал их

И побрел в переулки средь ветра и листьев палых.

Словно Шопен, трагичен, он шел в осенние дали,

И слезы в полкилограмма с ресниц его упали.

На обед я сварила суп и бигус с картошкой.  
Вдруг Стася как встал со стула! Как дал мне по уху ложкой!  
Сюда вот. В это вот ухо. В качестве поученья,  
Я охнула. Да чего уж! Я вынесу все мученья!  
И воспаление уха, и Стасян характер мерзкий —  
Лишь только бы создал он, мой Аполлон Бельведерский.  
Ну, я ему в ножки упала и говорю: «Стасёчек,  
Может, хочешь чаечку, а может — шарлотки кусочек?»  
Но Стася остался Стасей и крикнул страшно и глухо:  
«Не смей, говорит, мешанка, лишать меня силы духа!  
Шарлоткой сбить меня хочешь? А я надежда вселенной,  
Я сфинкс, говорит, пустыня, египетский и нетленный!  
Меня метафоры мучат, пафос и правая злота,  
Шекспир со мной по сравненью — нуль, а Мицкевич — микроба!  
Не смей и думать, что завтра дам я мочу на анализ,  
Я этого выше и создан, чтоб мне века поклонялись!  
Я, говорит, метафизик и чисто случайно Стася,  
Мой дух уже воплощался в Дантовой ипостаси!»  
Тут пришел Паутянский, вытер ноги в прихожей,  
Издерганный человечек — его не печатают тоже.  
Вошел он, чихнул и тихо заплакал на всякий случай,  
А Стася как раскричится: «Ах ты, графоман линючий!  
Литературная сошка, бездарь — и' все такое!  
А я витаю над бездной и не знаю покоя!  
Держите меня! А то ведь я жизнелюбьем не брызжу!  
Я, говорит, провидец и все, говорит, провижу!  
Пойду вот, отматерю вот редакторов и всех присных!  
А потом по Варшаве пуцусь, будто бледный призрак.  
Выворочу с корнями все фонари и тумбы,  
И пусть обо мне возвещают благовесты и трубы!»  
Тут Стася скушал шарлотки большой кусок машинально,  
Глянул на нас с Паутянским дико и инфернально,  
А после из оттоманки вынул свое творенье,  
Плод глубоких раздумий, борения и горенья,  
Поэму под заголовком «Бедро с бархатной кожей».  
Паутянский хвалил, но с весьма лицемерной рожей.  
Известно — ханжа и проныра и завидует Стасе,  
Наврет, обольстит человека и уйдет восвояси.  
А мне, покамест мой Стася читал про бедра, казалось —  
То ли вода, то ли что-то другое где-то плескалось...  
Тут Стася читать закончил и лег на оттоманку.  
И заснул. А спать любит. И храпит спозаранку.  
А по ночам, когда месяц в шифоньере дробится,  
Мне не спится, поскольку где-то что-то сочится.  
Или хлопает тихо. А если в потемках сонных  
Стася по дому ночью бродит в одних кальсонах,  
Бульканье слышно громче, я просто вся извелася...  
А это, как оказалось, в мозгах плескалось у Стаси.

